



Личный архив

ЯНУШ

КОРЧАК

ОСТАВЬТЕ МЕНЯ ДЕТЯМ...

Педагогические записи

Москва
Издательство АСТ

УДК 37.01(438)
ББК 74.03
К70

Перевод с польского языка *Л. Стоцкой*

Все права защищены.

Ни одна из частей этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Корчак, Януш.

К70 Оставьте меня детям... Педагогические записи / Я. Корчак; пер. с пол. яз. Л. Стоцкой – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 336 + [16 вкл.] с.: ил. – (Личный архив)

ISBN 978-5-17-098970-6

Януш Корчак — величайший педагог-новатор, замечательный писатель, и что крайне важно, его книги не имеют градуса актуальности привязанного ко времени, к конкретной эпохе. Книги Корчака будут читать учителя и родители, дети и подростки во все времена, ибо книги эти — синтетика трагедии и света, души и ума, а в совокупности — служения. Служения детям, служения детскому счастью.

«Дневник» Януша Корчака, написан в гетто весной — летом 1942 года. Документ страшного времени имеет особую силу и в полном объеме до сих пор не был переведен на русский язык.

УДК 37.01(438)
ББК 74.03

ISBN 978-5-17-098970-6

© Л. Стоцкая, перевод с пол. яз., 2016
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017



ДНЕВНИК

МАЙ — АВГУСТ 1942



ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Мемуары — литература унылая и мрачная. Художник или ученый, политик или диктатор вступают в жизнь, полные честолюбивых намерений, мощных, безупречных, победных деяний — живая энергия действия. Они возносятся вверх, преодолевают препятствия, расширяют сферу своего влияния, вооружаясь опытом и приобретая единомышленников; все плодотворнее, все легче, этап за этапом стремятся они к своим целям. Так проходит десять лет, иногда — два-три десятилетия. А потом...

Потом накапливается усталость, потом — шагок за шагом, но упрямо по той же, однажды выбранной дорожке. Удобным проторенным путем, с меньшим пылом и мучительной убежденностью, что все не так, что слишком мало

[сделано]*, что в одиночку куда труднее. Прибавляется серебра в волосах и морщин на некогда гладком и дерзновенном челе, а глаза все слабее, кровь все медленней кружит в теле, и ноги еле волокутся.

Что поделать — старость.

Один упрямится и [не] сдается, жаждет, как и раньше, даже сильнее, лишь бы успеть. Он обманывается, защищается, бунтует и мечется. Другой же в скорбном смирении не только от всего отрекается, но даже идет на попятную.

Я больше не могу...

Даже пробовать не хочу...

Не стоит и пытаться...

Я уже ничего не понимаю...

Кабы вернули мне урну с пеплом жизни, что я прожигал, энергию, растраченную на заблуждения, расточительный размах прежних сил...

Новые люди, новые поколения, новые нужды. Вот уже и его все раздражают, и он всех раздражает — и сразу непонимание, а потом уже и постоянное непонимание: эти их жесты, их шаги, эти их глаза и белые зубы, и лоб гладкий... ладно, хотя бы помалкивают...

Все и всё вокруг, и земля, и ты сам, и [новые] звезды говорят тебе:

* Здесь и далее в квадратных скобках приводятся восстановленные по смыслу пропуски слов. — *Прим. лит. ред.*

— Довольно... Тебе — закат... Теперь мы... Тебе — итог... Ты твердишь, что мы всё [делаем не] так... Мы и не спорим — тебе лучше знать, ты умудрен опытом, но позволь нам самим попробовать.

Таков порядок жизни.

Таков и человек, и зверь, да и деревья, наверное... Камни — другие, но кто знает; теперь их воля, мощь и время.

Тебе сегодня — старость, а завтра — дряхлость.

И все быстрее хоровод стрелок на циферблатах.

Сфинкса каменный взор задает извечный вопрос:

— Кто утром на четырех ногах, в полдень резво на двух, а вечером — на трех?

Ты. Опираясь на палку, загляделся на гаснущие холодные лучи заходящего солнца.

В собственной биографии я попробую по-другому. Может, это удачная мысль: вдруг получится, вдруг именно вот так нужно.

Когда копаешь колодец, то начинаешь работу не со дна; сначала широко разметываешь верхний слой, откидываешь землю, лопата за лопатой, не ведая, что там, глубже: сколько переплетенных корней, какие препятствия и провалы, сколько досадных, закопанных другими, да и тобой позабытых камней и разных жестких штук.

Решение принято. Довольно сил, чтобы начать.

Но бывает ли вообще на свете завершенная работа?

Поплюй на ладони. Покрепче ухвати лопату. Смелее.

Раз-два... раз-два...

— Бог в помощь! Дедуль, ты чего задумал?

— Сам видишь. Ищу подземный источник, живительную чистую стихию вызволяю, воспоминания расчищаю.

— Тебе помочь?

— О нет, голубчик мой, тут каждый сам должен постараться. Никто не придет на выручку, никто тебя не сменит. Все остальное можем делать вместе, коли ты мне еще доверишь и сколько-нибудь да ценишь. Но эту свою последнюю работу я сам должен сделать.

— Дай Бог сил...

Вот так-то...

Я намерен ответить на лживую книгу фальшивого пророка. Много та книга сотворила зла.

Так говорил Заратустра¹.

И я беседовал — имел честь с Заратустрой беседовать. Его премудрые посвящения в тайны, тяжелые, жесткие, острые. Тебя, бедный философ, завел бы он за темные стены и частые решетки дома скорби, да ведь так оно и было. Вот же оно, черным по белому:

«Ницше умер в разладе с жизнью — сумасшедшим».

Я же в своей книге хочу доказать, что умер он в мучительном разладе с истиной.

Тот же самый Заратустра меня учил другому. Может, у меня слух поострее, может, я вслушивался внимательнее.

В одном мы сходимся: дороги (и мастера, и моя — ученика) тяжкими были. Поражения куда чаще побед, много кри-

вых дорожек, а значит, время и силы потрачены впустую. Казалось бы, впустую.

Ибо в час расплаты — не в одинокой келье самого скорбного лазарета [...] и бабочки, и кузнечики, и светляки, и солист в высочайшей синеве — жаворонок.

Господь благ.

Спасибо тебе, добрый Боже, за луга и красочные закаты, за живительный вечерний ветерок после знойного дня пахоты и труда.

Спасибо, добрый Боже, что так мудро придумал: цветы пахнут, светлячки светят на земле, а искры звезд — на небе.

Как же радостна старость.

Как приятна тишина.

Сладкий отдых.

«Человек, безмерно Тобой одаренный, Тобой сотворенный, Тобой же спасенный...»²

Ну, довольно.

Начинаю.

Раз-два.

Греются на солнышке два деда.

— Вот скажи, старый хрыч, как это ты еще умудряешься жить?

— Ну так я жизнь вел солидную, размеренную, без потрясений и переворотов. Не пью, не курю, в карты не играю, за юбками не бегал. Никогда не голодал, не перерабатывал, ничего наспех не делал, ни во что рискованное не

встревал. Всегда все вовремя и в меру. Сердца не надрывал, легкие не раздирал, голову себе не морочил. Умеренность, спокойствие и рассудительность. Вот я и жив до сих пор. А вы, коллега?

— А я-то немного по-другому. Раздают синяки да шишки — я тут как тут. Я еще сопляком был, как пошли первые протесты да перестрелки. И ночи бессонные были, и тюрьма: ровно в такой дозе, чтобы молокососа хоть немного пообтесать-укоротить³. Потом война. Так себе, ничего особенного. Далеко пришлось идти, за Уральские горы, за байкальские моря, за [земли] татар, киргизов, бурятов, до самых китайцев. Только докатился я до маньчжурской деревни Таолайчжоу, глядь — опять революция. Потом ненадолго мир-покой воцарился. И водку я пил, как не пить, и жизнь, не мятый рубль, на карту ставил. Только вот на девчонок времени у меня не хватило... а так, кабы не это, да не то, что стервы они, до ночей охочие, да еще и детей рожают... Пакостная привычка. Один раз я попался. Потом на всю жизнь охоту отбило. Хватит с меня. И угроз, и слез. Сигареты курил без счету. И днем, и ночью, и в размышлениях, и в спорах, одну от другой прикуривал, дымил как паровоз. На мне живого места нет. Спайки, боли, грыжи, шрамы, весь на ходу разваливаюсь, скриплю, а вот ведь живу и пру напролом. И еще как! Спросите тех, кто мне поперек дороги встает. Как дам леща — мало не покажется. И сейчас бывает, целая банда меня на цыпочках по стеночке обходит. Да у меня и друзья-приятели есть.

— И у меня тоже. У меня и дети есть, и внуки. А у вас, коллега?

— У меня их двести.

— Шутить изволите, господин хороший?

Сейчас 1942 год. Май. Холодный в этом году май. И эта сегодняшняя ночь — тишайшая из тишайших. Пять часов утра. Дети спят. Их на самом деле две сотни. В правом крыле пани Стефа⁴, я в левом, в так называемом изоляторе⁵.

Моя кровать в центре комнаты. Под кроватью — бутылка водки. На тумбочке ржаной хлеб и кувшин воды.

Любезный Фелек⁶ наточил мне карандаши, каждый с двух сторон. Я бы мог писать вечным пером, одно мне дала Хадаска⁷, а второе — папа непослушного сыночка.

От этого карандаша у меня вмятина на пальце. И только сейчас до меня дошло, что можно по-другому, можно удобнее, пером писать легче.

Недаром папенька⁸ называл меня в детстве раззявой и балбесом, а в бурные моменты так даже идиотом и ослом. Одна только бабушка⁹ верила в мою звезду. А так — лентяй, плакса, нюня (я уже говорил), идиот, все ему до лампочки.

Но об этом потом.

Они были правы. Поровну. Напополам. Бабуля и папа.

Но об этом потом.

Лентяй... это заслуженно... Не люблю писать. Думать — другое дело. Мне это не составляет труда. Я словно сам себе сказки рассказываю.

Я где-то прочитал:
«Есть люди, которые так же не думают, как другие не курят».

Я — думаю.

Раз-два... раз-два.

На каждую неловкую лопату земли, выброшенную из моего колодца, я обязательно засматриваюсь. Задумываюсь минут на десять. И не в том дело, что я нынче слабый, потому как старый. Так всегда было.

Бабушка угощала меня изюмом и приговаривала:

— Философ.

Видимо, я уже тогда в приватной беседе посвятил бабушку в свой дерзкий план переустройства мира. Ни много ни мало: выбросить все деньги. Как и куда выбросить и что потом делать, я точно не знал. Не судите слишком строго. Было мне тогда пять лет, а проблема была невообразимо трудной: что делать, чтобы не было детей грязных, оборванных и голодных, с которыми мне нельзя играть во дворе, где под каштаном похоронена в вате, в жестянке изпод леденцов, первая моя покойница, близкая и ненаглядная, пока только канарейка. Ее смерть поставила передо мной таинственный вопрос веры.

Я хотел на ее могилке поставить крест. А служанка сказала, что нельзя, это же птица, она ж куда ниже человека. Даже плакать по ней грешно.

Ну, это служанка. Хуже то, что сын дворника заявил: канарейка моя была еврейкой.

И я еврей. А он — поляк и католик. Вот он точно попадет в рай, а я, если не буду говорить ругательных слов, а буду послушно приносить ему наворованный дома сахар, после смерти попаду в какое-то такое место, которое вообще-то не ад, но там темно. А я боялся темных комнат.

Смерть — Еврей — Ад.

Черный еврейский рай.

Было над чем подумать.

Я лежу в кровати. Кровать в центре комнаты. Квартиранты мои — Монюсь-младший (Монюсей у нас четверо¹⁰), потом Альберт, Ежи. С другой стороны, вдоль стены, Фелюня, Геня и Ханечка.

Двери в спальню мальчиков открыты. Их шестьдесят штук. А слегка на восток от них спят тишайшим сном шестьдесят девочек.

Остальные на верхнем этаже.

Сейчас май, пусть и холодный, так что в верхнем зале худо-бедно могут спать мальчики постарше.

Ночь.

Про нее и про спящих детей у меня есть записки. Тридцать четыре исписанных блокнота. Именно потому я так долго не решался писать мемуары.

Я собираюсь написать:

— толстый том о ночи в детском доме и вообще о сне детей;

— двухтомный роман. Действие происходит в Палестине. Брачная ночь пары «халуццей» у подножия горы Гильбоа, откуда бьет источник¹¹; об этой горе и источнике говорит Книга Моисеева.

Глубоким будет этот мой колодец, если успею...

Три-четыре-пять-шесть.

Несколько лет назад я написал для детей повесть о жизни Пастера¹².

Теперь продолжение серии: Песталоцци, да Винчи, Кропоткин, Пилсудский¹³ и еще пара десятков других.

Тут и Фабр, и Мультиатули, Раскин и Грегор Мендель, Налковский и Щепановский, Дыгасинский, Давид...¹⁴

Вы не знаете, кто такой Налковский?

О многих великих поляках не ведает мир...

Семь.

Много лет назад я написал повесть о короле Матиуше¹⁵.

Теперь очередь царя-ребенка: король Давид Второй¹⁶.

Восемь

Как испоганить материал полутысячи графиков веса и роста воспитанников¹⁷ и не описать прекрасной, добротной и радостной работы роста человека?

[...] через ближайших пять тысяч лет.

Где-то там, в пропасти будущего, социализм, сейчас — анархия. Война поэтов и музыкантов в прекраснейшей Олимпиаде — война за красивейшую молитву: за один в год гимн для Бога на весь мир.

Я забыл добавить, что и так идет война.

Десять.

Автобиография.

Да, о себе, о своей ничтожной и важной особе.

Кто-то когда-то злоехидно писал, что мир — капля грязи, подвешенная в бесконечности; а человек есть животное, сделавшее карьеру.

Может быть, и так. Но [надо] дополнить: капля грязи знает, что такое страдания, умеет любить и плакать, и полна тоски.

А карьера человека, если все взвесить по совести (по совести?) — сомнительна, очень сомнительна.

Половина седьмого.

Кто-то в спальне крикнул:

— Ребята, купаться, вставайте!

Я откладываю перо. Встать или нет? Я давно не мылся. Вчера я поймал на себе и безжалостно, одним ловким нажатием ногтя, убил вошь.